

Евгений Голубовский

ЮНОСТЬ

Признаюсь, Льву Толстому было легче строить сюжет своей первой трилогии. Отдал Николенку в университет, любовные переживания, домашние отношения, пейзажи усадьбы. Раскаяние в несправедной жизни. И вновь дневник и обещание самому себе стать лучше... Шучу, но моя жизнь складывалась круче...

– Никакого университета ты не увидишь как своих ушей (без зеркала – забывали добавить).

Но я и сам понимал, что паспорт, испорченный пятой графой, не сулит легкого восхождения в литературоведение, в историю, в философию.

– Иди на литейный! Там меньше всего конкурс, а работать будешь там, где устроишься!

Но я проявил строптивость и вместе с группой друзей – Мусей Винер, Лерой Перловой – подал документы на электрофак политехнического института. Почему? Не отвечу и сегодня, как и не объясню, из-за чего на вопрос «Хотите заниматься сетями (электрическими – это имелось в виду) или двигателями?» ответил: «Двигателями».

Как потом выяснилось, роли особой это не играло.

Из трехсот абитуриентов сто стали студентами, наша «команда» в том числе. Нас разбили на четыре группы – от Э-27 до Э-30. Кстати, за пять лет учебы меня как смутьяна перебрасывали из группы в группу, но начинал я в Э-30. Это так, «для истории».

Первые три года в институте я учился. Не буду писать – хорошо, очень хорошо, посредственно. Но учился. Трудно давалось черчение. Как-то легко справлялся с «военкой» (а нас готовили танкистами). Камнем преткновения было ТОЭ –

теоретические основы электротехники. Три раза сдавал экзамен доценту А.Г. Голомолзину, пока, усмехнувшись, он не отпустил меня с миром. Легко шел английский язык. Преподаватели были замечательные – Наталья Филипповна Полторацкая и Галина Николаевна Кузнецова. Через годы меня вновь с ними сведет жизнь, и мы будем дружить (именно дружить!) до конца их дней.

Любил я нашего математика – Николая Борисовича Дивари, и не потому что меня занимала математика. Человек он был универсальный – альпинист, книголюб, бредивший музыкой.

Казалось бы, все шло, как у всех, как и должно. Но... где-то к концу третьего курса я твердо знал, что это «не мое», я целыми днями пропадал в библиотеке имени Горького, появляясь в институте, благо он был рядом, на Преображенской, только на практических занятиях, чтобы не было «отработок».

Много я мог бы рассказать об институте – и доброго, и смешного, иногда трагического. Но до меня уже трое моих сокурсников (это то, что мне известно) – Владимир Тайх, Олег Щекотихин



Наша группа Э-30



Фая Килимник, Лера Перлова и Муся Винер

(наш староста в Э-30), Леонид Лимонов – уже написали и кто-то уже издал воспоминания о студенческих годах.

Я читал их с интересом. Из мемуаров Тайха вспомнил, что у нас был студенческий театр, что мы ставили «Баню» В. Маяковского (Виля был режиссером), а я играл «человека с папкой». А так оно и было, но и театр, и наша факультетская газета «Электроразряд», в которой я был членом редколлегии, остались в далеком прошлом.

А сколько был просто чудесных товарищей – Гарик Дивинский, Вова Туснолобов (с ним мы учились и в одном классе в 107 школе), Ян Иткис, Толя Сидоров, Света Могилевская...

Забыл бы, наверное, я и наши практики, если бы они все не проходили на Донбассе. И сейчас, когда я слышу названия Алчевск, Краматорск, Донецк, я вздрагиваю.

Жили мы на практиках и в общежитиях, и селили нас в семьях рабочих завода. И поверьте, нас не просто дружелюбно принимали, а по-домашнему опекали.

Не забуду, как в Алчевске ночью будит меня хозяйка:

– Женя, вставай! Первач пошел!

Впервые в жизни в 20 лет выпил я полстакана еще теплого самогона. На следующий день не пошел на завод, но с тех пор могу вести отчет своим алкогольным познаниям.

В поисках студенческих фотографий написал нескольким сокурсникам. Мало мы тогда фотографировались. Но вот такое короткое письмо пришло из Харькова от Леонида Лимонова, вновь вернувшее памятью в Алчевск:

«Ты помнишь нашу практику в Алчевске, в 1958?

Так вот. В последние несколько лет мне довелось побывать в Алчевске в командировках несколько раз.

И оказалось, что улица Ленинградская, на которой мы обитали, существует, и под тем же названием. Мало того, дом-барак, в котором мы впятером жили, тоже сохранился, стоит на том же месте. И на том же месте, в смысле в том же самом трех- или четырехэтажном здании (за углом от нашего барака) продолжает работать тот самый книжный магазин, который ты успешно опустошал во время этой нашей преддипломной практики.

А еще ты помнишь первую купленную нами в этом магазине книгу – «Избранное» И. Бабеля в обложке какого-то болотного цвета? Напечатана она была, если не ошибаюсь, в Кемерово. Там было 7 или 8 штук, и мы все их скупили. И даже я купил одну, хотя о Бабеле в тот момент знал очень мало, можно сказать, почти ничего, только слышал фамилию».

Иногда я слышу, что Донбасс – это быдло, позор державы. Нет, нет и нет. Я в Донецке бывал в домах профессоров Донецкого политехнического института. Это были не менее культурные, образованные люди, чем в Одессе.

И в Краматорске, и в Алчевске я слышал и русскую, в основном, но и украинскую речь. И это было естественно, и не вызывало ни у кого раздражения. Более того, многие мои сокурсники знали не только русский, но и молдавский, болгарский и, естественно, украинский.

Может быть, поэтому я не могу смотреть «фронтовые» сводки с Востока. Я вспоминаю современнейшие на тот период металлургические станы. Кстати, один из них электрифицировал мой двоюродный брат, довоенный еще выпускник нашего же ОПИ –



Юлик Златкис и Муся Винер

Моисей Гольденталь, он же летал в Калькутту, где внедрил эту свою схему. Я нередко слышал от ведущего электротехника института, доцента Льва Поликарповича Петрова: «Почему ты не хочешь идти по стопам брата?». У меня ответа не было.

Чем же я занимался, может кто-то спросить.

Естественно, что где-то уже осенью на первом курсе я влюбился. Мне казалось, что это на всю жизнь. Девушку звали Рита

Белозерская. Росла Рита без отца, с матерью и сестрой, в Авчинниковском переулке. Два года я ходил в этот дом беспрерывно. Меня уже полюбили и мама, и сестра Галя. А с Ритой отношения были самые теплые, самые дружеские. Но пределом, который мне был дозволен, был поцелуй в темноте и слезы в рубашку (жилетки не было), лишь позже я уяснил, почему.

Рита была без ума от одного из моих товарищей, а он на нее не обращал вообще никакого внимания. Разрешилось все как-то неожиданно. В один из вечеров Галя попросила проводить ее к подруге, я согласился, и по дороге она мне сказала, что через месяц-другой Рита выходит замуж, причем не за того, кого любила. Может быть, ему назло.

Не знал, заходить или нет, нашел в себе силы зайти. Опустив глаза, Рита поцеловала меня и попросила забрать все книги, что я ей дарил.

Вздрыгнул, увидев, что стопка книг была приготовлена на столе, вынул одну – том Бориса Пастернака 1934 года. Не попрощавшись, убежал.

Кстати, для меня это было уроком. Потом, влюбляясь, я не дарил своим подругам книги. Пожалуй, до Вали.

Как-то купил десяток копеечек времен Ивана Грозного. Черные кружочки, на решке которых была фигурка воина с копьем. Я заказывал колечки с этими древними монетками и дарил

их своим подружкам – Эмме Аровой, Инночке Тиккер. Называю тех, кого уже нет.

Наташе Бухаровой, она вышла замуж за священника и уехала с ним в глубинку России...

Но все-таки главным увлечением были не сменявшиеся влюбленности, не ночные посиделки у моря (время от времени нас освещали фонариками пограничники), а искусство. Мы все были литературоцентричны, а тут я осознал для себя, сколь прекрасна настоящая живопись. Я открыл для себя и все одесские музеи, и, главное, отдел искусства в библиотеке имени Горького. Именно там однажды мне показали альбом Музея нового западного искусства. Того самого, что безуспешно пыталась восстановить через десятилетия после сталинского разгрома неистовая Ирина Александровна Антонова.

Сказать, что я был поражен, потрясен, – ничего не сказать. Я буквально влюбился в Пабло Пикассо и Анри Матисса, я бредил Ван Гогом и Полем Гогеном, я восхищался Ренуаром и Дега. О, сколько я прочел тогда книг – все, что было написано об импрессионистах в 10-20-х годах и переведено на русский язык (Моклер и Глэз), постимпрессионизме (Синьяк), о кубизме, о конструктивизме. Передо мной лежали книги Ильи Эренбурга «А все-таки она вертится», статьи Владимира Маяковского «Записки Людогуса» о его походах по мастерским Парижа, книги В. Бабаджана и А. Нюренберга о Поле Сезанне...

Но ведь не могло быть так, что я открыл это для себя и не расскажу, не покажу друзьям. И вот уже вместе со своим школьным товарищем Юликом Златкисом мы проводим часы в библиотеке, приводим туда Мусю Винер, Сашу Ривилиса, Мишу Обуховского, Изю Клеймана...

Так постепенно созревает план провести в большом зале политехнического института вечер о современном искусстве. Начинаем искать репродукции. Словно идя нам на помощь, польский журнал «Пшекруй» («Przekrój») еженедельно в каждом номере публикует цветные репродукции – и Сутин, и Модильяни, и Дали, и Кокошка...

Михаил Обуховский (его отец – собкор республиканской газеты в Одессе) был членом факультетского комсомольского бюро.

Без всяких проволочек нам дают зал на один из свободных вечеров для «культурно-массового мероприятия».

За неделю под руководством Златкиса и Винер наклеены на листы ватмана репродукции. За неделю я написал доклад. Думал, на час – на два, оказалось, на три с половиной часа. Почти Фидель Кастро! Установили диаскоп, вывесили объявление. И, естественно, тревога, придет ли кто-нибудь.

Напомню, когда, в какое время все это происходило. Осень 1956 года. Время «оттепели» после XX съезда. Мы не только ничего не боялись, мы даже тогда не понимали, что еще можно чего-нибудь бояться. Вечер был назначен на конец ноября.

Зал вместимостью человек на четыреста полон – студенты, преподаватели. Потом мы узнали, что были и художники – Юрий Егоров, Олег Соколов, Владимир Власов, Дина Фрумина... Потом мы узнали, что были и КГБисты, но об этом мы действительно узнали потом.

Сейчас, осмысливая все, о чем я тогда рассказывал, могу признаться – доклад был компиляцией, никаких новых идей у меня еще не было. Но я доказывал, что сюжет не есть живопись, что развивается наука, развивается техника, также меняется техника живописи, что импрессионизм – это реакция на появление фотографии, что одновременно с кубизмом естественно развивается абстрактная живопись, затем, через десятилетие возникает сюрреализм. Все авангардные течения в искусстве будут развиваться и существовать одновременно, отталкиваясь и преумножая друг друга.

В 23.00 сделали перерыв. Ко мне подошли художники. Дина Михайловна Фрумина, поблагодарив за рассказ, заметила: «Запомните на всю жизнь – у Тулуз-Лотрека не было голых моделей, а были только обнаженные». Прошли десятки лет, а я убежден до сих пор, что у Шилле, у Ропса, у того же Лотрека – фигуры голые. Обнаженные они у Энгра и других классиков...

Еще человек десять рвались выступить. Ярко, остро говорил студент 5 курса Алик Мейстель. Его провожали аплодисментами.

В 24.00 зал закрыли. А буквально через день-два по городу поползли слухи, что в ОПИ состоялась «буржуазная вылазка».



Вначале появилась статья в «Комсомольском племени», затем в «Черноморской коммуне», в «Знамени коммунизма». Потом в Киеве, затем абзац в передовице «Правды»... И тогда где-то «наверху» было принято решение устроить второй вечер, дабы дать отпор «этим мальчишкам».

Я дал прочесть текст нескольким своим сокурсникам. В письме ко мне Света Могилевская (сейчас Лаздина) написала о случае, который я не знал.

«Дополню еще одним эпизодом, который проходил между первым и вторым диспутами. Небольшая аудитория, студентов много из всех наших четырех групп, сидим тесно. Я сижу рядом с Валей Френкель, Ниной Бухтиной и Эммой Михайлик. С нами ведет «беседу» парторг факультета (фамилию не помню). На первой парте сидит Гарик Иттер. Парторг поднимает Гарика, спрашивает фамилию и начинает его обвинять в «недолжном отношении к империалистической живописи». Гарик терпеливо слушает все обвинения и заявляет, что он вчера вернулся с международных соревнований по парусному спорту, завоевал золотую медаль и не понимает, о чем речь. Парторг смотрит в бумажку и говорит, что он имел в виду Винер. «Извините, ошибся». Аудитория дружно смеется. После этого он начинает поднимать каждого,

спрашивает, кто родители, и требует прийти с одним из родителей в партком. Когда очередь доходит до Нины Бухтиной, она сообщает, что мама умерла, а папа во главе танковой бригады находится в Венгрии. Парторг с испугом хватается бумажки и выбегает из аудитории. Аудитория бурно обсуждает событие. Я, Валя Френкель и Нина знали об этом, потому что наши отцы работали в Одесском военном округе».

Устроили продолжение «диспута». Мне кажется, это было уже через месяц, в конце декабря 1956 года. Ничего не получилось. Студенты освистали штатного искусствоведа В. Удалова. Д.М. Фрумина начала рассказывать о русских живописцах – Коровине, Врубеле, Серове, Грабаре, но зал воспринял это как подмену темы. Не выдержав шума, она выступить отказалась, Г. Крыжевский поведал, как на фронте поступали с предателями, но объяснял, что импрессионизм, по сути, тот же реализм, приведя в пример К. Костанди. Путано, явно не по теме говорил доцент Захаров, доказывая, что «Мыслитель» О. Родена опирается не на ту руку...



Я, Муся Винер, Иса Юзефовский

Вечер прервали. Затем нас исключили из комсомола, тепло относившийся к нам преподаватель, доцент Боржим, предупредил, что нашим делом занялся КГБ, и в ближайшее время мы будем исключены и из института. И посоветовал: «Езжайте в Москву, в ЦК».

Поездка в Москву в феврале 1957 года, скорее всего, закончилась бы неудачей. На фоне «венгерских событий» ни в «Комсомольской правде», ни в ЦК с нами, а я поехал с Юликом Златкисом, даже не стали говорить. Помогла случайность. Мама просила позвонить давней, с довоенных лет подруге, которая была когда-то женой моего дяди. Я позвонил «вечером, делать было нечего». Меня пригласили в гости. Рассказал маминой подруге, что в этот раз привело нас в Москву. Она выслушала, позвала мужа, литературоведа. Он тоже выслушал нашу невеселую повесть и сказал: «Единственный человек, который может вам помочь, – Илья Эренбург. Я с ним не знаком, но у меня есть телефонный справочник Союза писателей. Я вам дам телефон, но звоните не от меня, не от родственников, а из автомата». Его беспокойство мне уже было понятным.

На станции метро я подошел к автомату и набрал номер. Вежливый женский голос сообщил, что Ильи Григорьевича нет в Москве. Что делает нормальный человек – благодарит и вешает трубку. Но я был уже «на пределе». И незнакомой женщине, даже не спросив, кто она, я, волнуясь, рассказываю нашу историю. Она внимательно выслушивает меня, задает вопросы и говорит: «Не бросайте трубку, я через 2-3 минуты продолжу разговор». Жду. И действительно, через минуту она представляется: «Я Наталия Ивановна Столярова, секретарь Ильи Григорьевича. Он сейчас в Новом Иерусалиме, я ему позвонила и сказала о вашем звонке. Он завтра к 16.00 будет в Москве, записывайте адрес – улица Горького...».

Нужно ли говорить, что без пяти минут 16 часов я стоял у двери квартиры И.Г. Эренбурга? Юлик Златкис остался меня ждать напротив, на Центральном телеграфе.

Дверь мне открыла Наталия Ивановна. Уже потом от Николая Алексеевича Полторацкого я узнал, что она была подругой дочери Эренбурга, вернулась в СССР из Парижа, прошла через

советские лагеря, что в Париже ее женихом был выдающийся поэт Борис Поплавский, а в Москве ее взял к себе литсекретарем Эренбург. В Париже Полторацкий со Столяровой были знакомы. Вот как тесен мир...

А в эту минуту секретарь просто ввела меня в кабинет Ильи Григорьевича. Он видел, что я смущен, что я взволнован, поэтому заговорил первым, показал несколько картин на стене – вот Роберт Фальк, вот это его портрет работы Пабло Пикассо.

Я смотрел и на книжные шкафы. «Хулио Хуренито» на разных языках занимал отдельный шкаф.

– Одесса все та же? Работает «Бристоль»? «Лондонская»?

– Сейчас это «Красная» и «Одесса».

Он усмехнулся.

А потом я очень кратко повторил свою историю. Эренбург спросил, читал ли я текст доклада или импровизировал. Импровизировал, но у меня был план-конспект. Он попросил его и на полчаса углубился в чтение, оставив меня с собачками, книгами и картинами.

Приговор Ильи Григорьевича был суров, но справедлив:

– Практически все, что вы говорили, правильно, но еще не пришло время говорить все. Вы это не почувствовали и, боюсь, не чувствуете. Во «Французских тетрадах» я ведь дальше Сезанна не рассматриваю французское искусство. Еще не время. Посидите, сейчас я свяжусь с Шепиловым, думаю, все решим. (Теперь мы вспоминаем иногда «...и примкнувший к ним Шепилов», а тогда это был влиятельный секретарь ЦК КПСС.)

Шепилова в Москве не оказалось, Эренбург сделал несколько звонков. Александр Бек посоветовал связаться с секретарем иностранной комиссии Союза писателей Борисом Полевым.

Борис Полевой откликнулся сразу же. Он попросил Эренбурга официально обратиться к нему с письмом, а дальше обещал все решить сам.

Илья Григорьевич садится за машинку и в течение нескольких минут пишет письмо, вручает его мне и объясняет, где и как найти сейчас Полевого.

Насколько я был тогда растерян, видно из того, что мне и в голову не пришло попросить у Эренбурга, а потом у Полевого книгу с автографом... (Вот тебе и книголюб!)

К Борису Полевому мы поехали с Юликом. Забавная деталь. Борис Николаевич только-только закончил прием румынской делегации. Взял письмо Эренбурга, усадил нас за стол, на котором в вазе лежали апельсины, и сказал: «Пока вы не съедите эти «румынские апельсины», говорить с вами не буду». Хитроватая улыбка обозначала: «Это Одессе контрибуция от Румынии».

Прочел письмо, оставил нас одних в кабинете и ушел с письмом. Вернувшись, сказал: «Я все понял, все сделаю, только Эренбурга больше не тревожьте – ему и так достается». Отдал мне письмо и сказал: «Храните его – автограф Эренбурга!».

– Сколько дней вы еще в Москве?

– Два дня.

– Тогда, чтобы вы не теряли времени зря, вот вам адрес мастерской гениального скульптора – Степана Эрзьи. Скажете, что от меня, – и еще дал нам адрес выставки шелкографии, которую обязательно и тут же советовал посмотреть...

Только выйдя из кабинета Бориса Николаевича Полевого, мы позволили себе прочесть письмо Ильи Григорьевича Эренбурга, которое и сегодня, спустя более чем полвека, хранится в моем архиве.

«Москва, 27 февраля 1957 г.

Дорогой Борис Николаевич!

Я прошу Вас помочь мне распутать следующее дело. Ко мне обратился студент Одесского политехнического института Е.М. Голубовский.

В Одессе студенты названного института решили в ноябре прошлого года обсудить проблемы изобразительных искусств. Голубовский, который увлекается искусством, сделал доклад об импрессионистах, о Сезанне и о последующих явлениях западной живописи. В его докладе много слабых мест, ведь Голубовский не историк искусства, а студент, изучающий электротехнику, но в докладе, в его первой части, посвященной импрессионизму, много бесспорного и правильного, и, на мой взгляд, можно только радоваться, что молодой человек читал, думал об искусстве

и решил поделиться своими знаниями и мнениями с товарищами. То, что руководители местного комсомола сделали из этого криминал и исключили четырех студентов из комсомола, мне кажется неправильным.

Я решил сделать все от меня зависящее, чтобы это дело распутать. К Вам я обращаюсь с просьбой мне в этом помочь. Пожалуйста, примите тов. Голубовского, познакомьтесь с теми материалами, которые он Вам покажет, и скажите мне, что я могу сделать для того, чтобы помочь молодым людям, на которых обрушилась беда.

С уважением

Илья Эренбург»

На письме внизу карандашные пометки Бориса Николаевича Полевого: выделены слова «Одесского политехнического, Е.М. Голубовского». В левом нижнем углу записан ряд фамилий – «Златкис, Голубовский, Винер, Ривилис».



Я грызу гранит науки, а Муся Винер и Саша Ривилис читают конспекты

Через два дня мы вернулись в Одессу, никому ничего не говоря. Но уже через месяц появились признаки того, что колесо начало крутиться в обратную сторону. Сегодня я знаю об этом еще и потому, что Борис Фрезинский, исследователь творчества Эренбурга, опубликовал его переписку с Полевым. Оказалось, что дело одним письмом не ограничилось. Полевой подключил Шелепина, тогда еще первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Из Москвы пошли письма в Киев и в Одессу. Как не вспомнить поговорку тех лет – за что в Москве стригут ногти, в Киеве отрезают пальцы... Обошлось резкой ногтей...

А вообще, как ни стыдно в этом признаться самому себе, мы действительно мало что понимали в окружавшем нас мире.

Мое выступление состоялось в ноябре 1956 года. Но уже в это время на улицах Будапешта шли бои. И там все началось с бунта студентов Будапештского политехнического института в сентябре 1956 года. Мы об этом бунте не знали, хотя должны были знать, все зарубежные радиостанции только о Венгрии и говорили. А нам казалось, что в СССР навсегда пришла «оттепель», что уже все можно. А раз можно – значит, нужно. Так что все, что произошло с нами, что мы остались целы и невредимы, – чудо.

Еще раз или два я говорил по телефону с Н.И. Столяровой, увы, вопреки предупреждениям Б.Н. Полевого. Перезванивались с Борисом Николаевичем. Он и Эренбург переписывались между собой, о чем я узнал лишь после горбачевской перестройки из публикации в журнале «Юность». Нам казалось, что все течет безумно медленно, – напротив, все произошло по тем временам и четко, и быстро.

В конце концов, нас восстановили в комсомоле, выговоры получили мы и секретарь институтской организации А. Якубовский. Нас уже не исключали из института, но замначальника областного КГБ Юферев в каждом докладе, а он выступал в КБ, НИИ, вузах, сообщал, что им удалось предотвратить «идеологическую диверсию» в ОПИ.

Кстати, когда я поступал в институт, его ректором был крупный ученый, автор учебника «Детали машин», переведенного на многие языки, Виктор Афанасьевич Добровольский. Когда мы были на 4 курсе, ректором уже был С.М. Ямпольский. Встретив



Валя Голубовская

меня на лестнице (Добровольский уже не был ректором, а заведовал кафедрой), он взял меня за пуговицу и сказал:

– Вам повезло, молодой пистолет! В лагерях я видел и таких, какие за неосторожное слово сидели.

Почти такого же рода была у меня беседа с отцом. Отношения в семье разладились. Меня воспринимали как отколовшегося от семьи.

– Почему ты заранее не предупредил меня о своих планах? – спросил отец.

Я объяснял, что не посвящаю их в институтские дела, так как они мне неинтересны, тем более им.

– Я думал, что ты взрослый, а ты еще мальчишка. Если бы ты видел то, чего я насмотрелся, когда строили Днепрогэс, ты бы задумался, прежде чем проводить диспут. И с кем – с советской властью.

К счастью, я действительно не видел, кто и как строил Днепрогэс. И поверить ему, что эта страна, как молох, будет сажать и сажать, в те минуты не мог. В общем, пообещал ему, что бы ни происходило в институте, буду приходить к нему на щетинно-щеточную фабрику, где он был начальником деревообделочного цеха, и рассказывать. Что нередко и делал впоследствии, понимая, что родителям я доставляю больше горя, чем радости.

Мама менее остро воспринимала эту ситуацию. Ее больше волновало мое здоровье. А у меня тогда вовсю расцвел «весенний катар» глаз (сколько часов на меня потратил профессор Семен Федорович Кальфа!) и астма...

Думаю, меньше всего все это ощутила моя сестра Ира, ей было девять лет, и она безмятежно училась в школе.

И все же с четвертого курса я занимался в институте скорее номинально. Друзья – Боря Айзенштейн, Саша Ривилис, Иса Юзефпольский, Муся Винер – всегда давали мне перед экзаменами свои конспекты, да и преподаватели шутя говорили, что «потеряли» меня на втором курсе.

Эти годы – годы страстного увлечения живописью, скульптурой уже не по репродукциям, а в мастерских творцов.

Я уже упомянул фамилию – Эрзя. Впервые посетил его с Юликом Златкисом. Он впустил в мастерскую, сказал – смотрите, а сам пошел в дальний угол, за занавесочку, работать.

Через полчаса мы, извинившись, подошли к нему, разговорились. Не раз, приезжая в Москву, я бывал у него, водил к нему друзей в огромный 200-метровый подвал, заставленный потрясающей скульптурой из дерева квебрахо. Один из талантливейших скульпторов начала XX века, не уступавший С. Коненкову, он в начале 20-х годов уехал в командировку – в Аргентину, и не вернулся. Он открыл для себя этот материал квебрахо, дерево, по твердости не уступающее металлу. Часами беседовал я со Степаном Дмитриевичем о скульптуре, о пластике. Собеседников у него в те годы было не много.

Во время второй мировой войны Аргентина была враждебна СССР. Эрзя затосковал. Попросился домой. Его впустили. А скульптуры, которые он привез с собой, год простояли в одесском порту, прежде чем их перевезли в Москву. И только в 1957 году, за два года до смерти, ему выдали этот подвал по ходатайству Бориса Полевого. Поэтому Борис Николаевич, не заглядывая ни в какие бумажки, записал нам его адрес.

В Саранске, столице Мордовии (Степан Дмитриевич взял себе псевдоним Эрзя по самоназванию одного из мордовских этносов, настоящая его фамилия Нефедов), открыт музей его имени. Я побывал там – это действительно скульптор мирового класса.

Чуть позже я познакомился в Москве с замечательными художниками, сегодня уже ставшими славой российского авангарда, – Дмитрием Краснопевцевым, Юрием Васильевым, Оскаром Рабиным, Евгением Кропивницким, Владимиром Яковлевым и многими другими. Я уже начинал собирать не только книги, но и живопись. Работы москвичей заняли в моей коллекции



Рита и Саша Ануфриевы

достойное место. Отец, который с большим скепсисом относился к моему собирательству, постепенно увлекся и стал делать рамки к картинам и графике и даже развешивать на стенах эти работы.

А в Одессе я подружился с Олегом Соколовым, Владимиром Криштопенко, Геннадием Малышевым, Люстиком Межбергом. Потом меня сами нашли Саша и Рита Ануфриевы, привели к себе на Осипова угол Успенской. Я жил другой, не институтской жизнью.

Но подошло время диплома. Вместе со всеми защитил его в 1958 году. Я получил назначение вновь-таки на Донбасс главным электриком угольной мельницы. Помню, до конца августа 1958 года оттягивал

отъезд. Но сроки поджимали, взял два чемодана и поехал в Донецк. Устроился в гостиницу и на следующее утро – по месту назначения.

На меня смотрели как на инопланетянина. Заявку они послали в министерство в 1955 году. Уже два года работает человек на этом месте. Что я от них хочу?!

– Ничего, – сказал я. И получил письмо, что в связи с отсутствием свободной должности могу валить на все четыре стороны.

Смущенный (столько было сборов в новую жизнь!), вернулся я домой. Вроде бы первая неудача, но неудача с удачей часто ходят под руку, Мама обрадовалась моему возвращению и сказала: «Я тебя познакомлю с интересным человеком!». Оказалось, на ее участке жил, лечился у нее заместитель директора завода «Кинап» Лазарев. Буквально через две недели я был зачислен

в СКБ кинооборудования конструктором, самой младшей – второй – категории. А через три года я женился, так что юности осталось всего ничего.

Еще в те дни, когда нас шельмовали одесские газеты, я побывал в редакции «Комсомольского племени», чтобы вычитать пасквиль против нас. Строгость была даже в этом – редакции не хотелось допустить ошибок даже в терминах, как мы смеялись, не спутать импрессионизм с сионизмом...

Меня отвел в сторону ответственный секретарь газеты Зиновий Могилевский:

– Юноша, когда кончатся у вас все передраги, приходите к нам, мы найдем чем вам заняться.

Я не забыл эти слова. Уже окончив институт, поступив на работу, я зашел в редакцию газеты. Было это в 1959-1960 году. К тому времени я хорошо знал сотрудников газеты – поэтов Людмилу Гипфрих и Юрия Михайлика, Бориса Нечерду. Не уверен, что последние двое были уже в штате редакции. Но в те же времена познакомился, дружил с молодой сотрудницей Ниной Ляпиной.

До сих пор помню целую газетную полосу, сотворенную вместе с Ниной Ляпиной: «Четыре кисти пишут жизнь» – о Славе Божие, Люсике Межберге, Алеше Лопатникове и Гене Малышеве. Это был старт в новую жизнь.

Несколько слов о «Кинапе» и СКБ кинооборудования. По тем временам это был завод, где работали инженеры и рабочие высокой квалификации. Продукция завода покупалась не только в СССР, но и за рубежом. Я пришел в электроотдел, которым руководил талантливый инженер Яков Скибинский. Там уже работал и мой сокурсник Виктор Луценко, который со временем, уже после моего ухода, стал руководить отделом.

С шутливой гордостью могу сказать, что одну из схем, которую придумали Толя Финкель (кстати, племянник художника А.Б. Постеля) и я, опубликовал журнал «Киномеханик», выходящий в Москве. Это была моя первая «всесоюзная» публикация. А уж как гордились родители!

Не удержусь и расскажу об одном казусе, который мог закончиться безумными штрафами. Мне поручили разработать новый электромотор для протяжки пленки. Возился месяц. Все выполнил.



Валентина и Евгений Голубовские

Забыл лишь проставить на чертеже масштаб. Проходят недели, вызывают меня в цех, они уже изготовили штамп для рубки металлических листов, но им показалось, что мотор будет очень маленьким и ничего не потянет. Смотрю на свои чертежи и вижу, что масштаб-то я не проставил. Все должно быть в пять раз больше! Растерялся, вышел из цеха, буквально со слезами на глазах, а навстречу идет Боря Литвак, главный спортсмен завода!

– Держись ровно! – сказал Боря.

И мы вернулись в цех.

– Три бутылки шампанского и, считай, девочки переделают оснастку! Так оно и произошло. А Боря не раз заходил ко мне в СКБ, не раз вытягивал к себе в спортцентр, и мы играли в настольный теннис китайскими шариками и ракетками, которые по заказу Литвака привез из Китая директор завода Перминов.

Дружбе с художниками я в какой-то мере обязан встречей с моей будущей женой. Валя пришла в филармонию с Ильей

Шенкером и Лялей Швальбиной. В антракте, пока Илья и Ляля остановились с кем-то из своих знакомых, нас познакомил Иса Юзефпольский, мой институтский друг и Валя знакомый. Второй раз нас знакомила прилетевшая из Москвы Валя школьная подруга Эвелина Шац. И, наконец, в третий раз, как оказалось, навсегда, познакомил нас в Художественном музее художник Аркадий Гевсеевич Самбур. Это был 1960-й год.

Валя собиралась через две недели уезжать в Ленинград, сдавать экзамены в университет. К моему великому огорчению, она поступила. Начались наши полеты друг к другу.

29 апреля 1961 года мы расписались в ЗАГСе возле Оперного театра. Вале было 22 года, мне шел 25-й...

Закончилась ли юность? Началась ли зрелость? Я и сам себе не могу ответить на этот вопрос. Но если жизнь делить на «этапы большого пути», то начавшийся новый обещал быть интересным. Так и случилось.

